

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин

Случилось это в 1978 году. Мы с Алесем Адамовичем работали над второй частью «Блокадной книги». Не помню уж, через кого вышли мы на Б-ва. Блокадники, которых мы записывали, передавали нас друг другу. О Б-ве мы были наслышаны от многих и давно добирались до него, однако получилось это не сразу, он жил в Москве, был человек занятой: первый зам союзного министра. Во время блокады Б-ов работал помощником Алексея Николаевича Косыгина, направленного представителем Государственного Комитета Оборона в Ленинград. Услышать Б-ва нам было важно, чтобы обозреть блокадное время как бы с иной стороны – государственных усилий по снабжению осажденного города, по эвакуации населения и ценностей. До этого нас занимали частные судьбы, бытовые истории, но мы чувствовали, что читателю надо приподняться и окинуть разом всю картину, увидеть то, о чем не знал никто из блокадников, замерзавших в своих ледяных норах.

Б-ов отнекивался, как мог, наконец сдался и щедро потратил на нас несколько вечеров. С трогательной добросовестностью уточнял каждую цифру, факт, а когда речь заходила о самом Косыгине, щепетильно проверял по каким-то источникам даты, маршруты поездок, названия предприятий. Чувствовались глубочайшее почтение к Косыгину и школа. Но эта же школа исключала проявление всякого живого чувства. Требовался точный доклад, отчет, пояснительная записка. При чем тут личные переживания? Эмоции мешали. И никаких самостоятельных рассуждений, впечатлений, догадок.

Добиться от Б-ва рассказа о том, как он прожил в блокадном городе семь отчаянных месяцев среди обстрелов, пожаров, трупов, нам не удалось. Он выступал лишь как функция, как помощник Косыгина, не более того. Не считал возможным фигурировать отдельно, сам по себе. Он помощник Косыгина, все они были помощниками Косыгина. Ну, а сам Косыгин? Сам-то как, – волновался, боялся, страдал? Что для него значила блокада? Ведь жизнь его ленинградская, казарменная, проходила на ваших глазах.

Он смотрел на нас с недоумением. Такие вопросы в голову не приходили, да и вообще... Он был несколько смущен, не представлял себе, как такие переживания отзовутся на репутации шефа. Речь шла о нынешнем Председателе Совета Министров страны. Да и в ту блокадную пору Косыгин был тоже заместителем Председателя Совнаркома. О людях такого ранга не принято... Да и нельзя за другого. И вот тогда нас осенило – а если спросить у самого Косыгина? Взять и записать его рассказ! Точно так же, как мы записывали рассказы других блокадников. Он для нас в данном случае такой же блокадник, как и все другие. Мысль, что Предсовмина можно расспрашивать и записывать как обыкновенного блокадника, явно ошарашила Б-ва. Сперва он высмеял нас. Это было легче, чем возразить. Мы настаивали, и воистину – «толщьте и отверзится», – вскоре он призадумался, закряхтел и разродился туманно-осторожным: «Попробуем узнать».

По своей провинциальной простоте мы полагали, что Б-ву для этого стоит снять трубку и по ихней кремлевской вертушке позвонить своему бывшему шефу: так, мол, и так. Все же почти фронтовые корешки, да и по должности своей Б-ов тоже не жук на палочке. На это Б-ов зажмурился от невозможности слушать такую дичь.

Как там далее блуждал наш проект в лабиринтах власти, неизвестно. Время от времени Б-ов сообщал нам: «выясняется», «рассматривают», «надо кое-что уточнить», «дело движется»... Потом оно перестало двигаться. А потом двинулось вспять. Почему, отчего – нам не сообщалось, фамилии Косыгина в телефонных разговорах не упоминалось. Текст применялся иносказательный. Мы решили, что вступаем в особую зону правительственных контактов, шут его знает, может, у них положена такая таинственность и постоянная опаска – «это не телефонный разговор».

Уж не рады были, что втянули Б-ва в эту историю. Сказал бы: да – да, нет – нет, что там мудрить. Но, оказывается, чего-то там зацепилось, и назад ходу не было. Однажды Б-ов позвонил мне в Ленинград и попросил назавтра быть в Москве. Достать билет в тот же день было непросто, но я понимал, что с такими мелочами Б-ов считаться не может, тем более лицо, которое он представлял.

В Москву я прибыл. К вечеру Б-ов заехал за мною, и мы отправились в Кремль. По дороге он пояснил, что согласились принять меня одного, тут ничего не поделаешь. Бесшумные коридоры, охрана, лесенки, переходы, все блестит, начищено. Приемная... Минут в минуту, нас уже ждали, сразу провели в кабинет. Косыгин существовал для меня издавна. На портретах, которые мы носили во время

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru демонстрации, на портретах, которые вывешивали шеренгами по улицам: все в одинаково черных костюмах, одинаковых галстуках, разница была в золотых звездочках Героев – были с одной, были с двумя. Годами, десятилетиями они пребывали, не старея. На экранах телевизоров, неизменно благожелательные и строгие, они тоже шеренгой появлялись в президиуме, вместе начинали аплодировать, вместе кончали. Что мы знали о них, об их характерах, взглядах, пристрастиях? Да ничего. Ни про их ясен, ни про друзей, ни про детей. Не было слышно, чтобы кто-то из них когда-нибудь покупал что-то в магазине, ехал в троллейбусе, беседовал с прохожими, ходил в кино, на концерт, сам по себе, просто так. Индивидуальность скрывалась тщательно. Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов. Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.

...Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать. Но мне надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость. Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет и высокие окна, и вид из них показались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда?.. Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина», – подсказал мне Косыгин.

Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.

Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.

– М-м да-а, – протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин бросил на меня взгляд, линиялы его глазки похолодели.

Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подальше от того рабочего письменного стола. Втроем. Косыгин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.

Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой. Нельзя!.. Почему? – я недоуменно уставился на него. «Нельзя», – повторил он именно это слово. А от руки записывать карандашом? – Это можно. И предупредил, что когда запись будет обработана, прежде чем включать в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль. Все мероприятия проводились совместно с Военным советом и городскими организациями.

Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.

Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..

Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы. Известно, что в Ленинграде к зиме 1941 года скопилось на Сортировочной станции две тысячи вагонов с ценным оборудованием, цветными металлами для военных заводов. Почему это произошло? Можно ли было отправить их до того, как блокада замкнулась? Почему ГКО пришлось послать в Ленинград своего представителя, то есть Косыгина? Как было наладить эвакуацию по Дороге жизни всякого рода приборов, инструмента, наиболее дефицитных вещей? Одновременно срочно вывозить голодающих детей, женщин, мастеров, ученых. Как приходилось выбирать?..

Б-ов сидел прямо, отстраненно-молчаливый. Свидетель, что ли? Похоже, что совершалась какая-то процедура, как бы ритуал, предназначенный неизвестно для кого.

Отвечать Косыгин начал издали. Но вскоре я понял, что он не отвечал, а рассказывал лишь то, что собирался рассказать, независимо от моих вопросов.

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Блокадники тоже рассказывали не то, что я спрашивал, а то, что было им интересно.

Это меня устраивало. Тем более что это действительно было интересно. И рассказывал он хорошо – предметно, лаконично.

В конце августа в Ленинград из Москвы была направлена комиссия: Молотов В.М. (председатель), Маленков Г.М., Берия Л.П., Косыгин А.Н., Кузнецов Н.Г. (нарком военно-морских сил), Жигарев П.Ф. (командующий военно-воздушными силами), Воронов Н.Н. (начальник артиллерии).

– ..Летели самолетом до Череповца. Дальше нельзя – шли воздушные бои. В Череповце взяли паровоз с вагоном. Недалеко от МГИ попали под бомбежку. Вышли из вагона, укрылись в кювете, впереди зарево, горят станция, склады, поселок. Пути разбиты. Сидим. Я говорю Кузнецову – пойдём посмотрим, что делается впереди. Пошли. Кое-где ремонтники появились, еле шевелятся. Стоит какой-то состав. Часовые. Мы к ним: что за эшелон? Красноармеец матом нас шуганул. Представляете – наркома и меня, заместителя Председателя Совнаркома! – Он благодушно удивился. – Мы потребовали вызвать командира эшелона. Он явился. Попросил извинить. Оказывается, сибирская дивизия следует на фронт. Через них кое-как связались с Ленинградом, с Ворошиловым. Он прислал за нами бронепоезд – два вагона плюс зенитки.

Этот рассказ я записал буквально. Картина была впечатляющая: в мокрой канаве, ночью, приткнулись, в сущности, все высшие чины правительства и армии. Воют бомбардировщики. Грохочут зенитки. Пыхают пожары. Впервые в жизни попали они в такую передрагу. Вжались в землю, съежились... По себе знаю, какой это страх – первая фронтовая бомбежка. Любопытно, конечно, кто там как себя вел – всемогущий Берия, и Маленков, и Молотов, – как они держались, хлебнув на несколько минут хотя бы такой войны.

Под утро добрались до Ленинграда. Прибыли в Смольный, собрали командование. О положении на фронте докладывал Ворошилов – главком Северо-Западного направления. Наступление немецких войск удержать не удалось. Немецкие армии двигались на город с нескольких сторон. Обстановка была запутанной, нарушалось управление фронтами. Вечером комиссия подвела итоги. Несколько военных советов – Северо-Западного направления, города, красногвардейского укрепрайона и других – создавали неразбериху. Решено было создать единый Военный совет, выделить самостоятельный Карельский фронт, передать ему такие-то части.

Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая опасности, угрожающей Ленинграду, не заботилось обеспечить эвакуацию жителей и промышленности.

формулировки Косыгина были сдержанны. Можно было бы сказать и резче. Мы с Адамовичем столкнулись, например, с фактами агитации и настроений тех дней, когда отъезд из города считался малодушием, неверием. Поощрялась бравада: «Мы, истые ленинградцы, не покинем своего города!», и это затрудняло организованную эвакуацию.

Комиссия должна была определить, можно ли оставлять Ворошилова командующим, как наладить взаимодействие армии и Балтийского флота. А за всем этим поднимался грозный вопрос – удастся ли удержать город? Следовало предусмотреть самые тяжкие варианты. Если не удастся, – что делать тогда с флотом, с населением, с городом?.. Назавтра разбились на группы. Молотов занимался Смольным, Берия – НКВД, Косыгин – промышленностью. Вечером докладывали в Москву. Молотов сказал Косыгину: «Вы здесь задержитесь. Так сказал Сталин. Потом созвонимся». Косыгин остался организовать эвакуацию предприятий на восток. Вместе с заводами надо было отправлять специалистов.

Вскоре Ставка отозвала Ворошилова, в Ленинград прибыл Жуков. «Провожали Ворошилова тепло, устроили ему товарищеский обед, так что все было по-человечески, – подчеркнул Косыгин, – а не так, как изображено в некоторых романах». Он старался внушить сочувствие и уважение к Ворошилову: «Одно его имя воодушевляло, а появление его на передовой поднимало войска».

Мне вспомнилось августовское наше отступление и сентябрьские бои под Ленинградом, уход из Пушкина. Связи со штабами не было, снаряды не подвозили, обстановки никто не знал, офицеры командовали то так, то эдак. Легенды о

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Ворошилове вызывали насмешку, даже ругань: где-то, мол, он поднял солдат и повел их в атаку. На кой нам эта атака и этот вояка!.. Два месяца боев нас многому научили, мы понимали, что если командующий фронтом ведет в атаку, то никакая это не доблесть, а отчаяние. К середине сентября фронт окончательно рухнул, мы оставили Пушкин, мы просто бежали. На нашем участке противник мог без всяких препятствий идти до самого Ленинграда. Таково было наше солдатское разумение, вытекающее из того, что видели мы на своем отрезке от Шушар до Пулковка.

Я мог бы кое-что еще выложить Косыгину про командование Ворошилова, до чего оно довело, и как переменялось на фронте, когда появился Жуков, даже до наших окопов дошло... Но я не стал прерывать, понял, что Косыгин не знает военного дела и не знает про Ленинградский фронт. Зато про блокаду он знал то, чего не знал никто.

...Постепенно он увлекся, видно, ему самому интересно было показать, какие масштабы приняла помощь окруженному Ленинграду (это уже в январе 1942 года), как ему удалось мобилизовать обкомы партии разных областей на сбор продовольствия, как наладили в областях прием эвакуированных. Память у него сохраняла фамилии, количества продуктов, машин, названия предприятий. Поразительная была память. Думаю, что рассказывал он про это впервые. Так свежо было удовольствие, которое он испытывал, вспоминая. Бесстрастный голос его смягчался, его уносило в какие-то отступления, которые вроде и не относились напрямую к нашей теме. Но они были интересны ему самому. Одно из них касалось октябрьских дней 1941 года в Москве, самых критических дней войны. Москва поспешно эвакуировалась, в Куйбышев отбыл дипломатический корпус, отправили артистов. Академию наук, наркомов... Из руководителей остались Сталин, Маленков, Берия и он, Косыгин. Между прочим, организуя отправку, Косыгин назначил Николая Алексеевича Вознесенского главным в правительственном поезде. Вознесенского такое поручение рассердило, характер у него был крутой, его побаивались, тем более что он пребывал в любимцах у Сталина. Сталин его каждый вечер принимал. Вознесенский пригрозил Косыгину, что пожалуется на это дурацкое назначение. Следует заметить, что Вознесенский был уже кандидатом в Политбюро, а это много значило.

– Я не отступил, и Вознесенский вскоре сдался: черт с тобой, буду старшим. А я не боялся, мы с ним друзья с ленинградских времен...

Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая себя.

Мало уже кто слышал про Вознесенского. Сделали все, чтобы имя это прочно забыли. Как и «ленинградское дело». Не было такого, и следов нет. Тем более что делу этому не предшествовала борьба мнений, оппозиция, никого не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не было публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех заклеямили, прокляли, но толком никто не понимал, за что, почему.

Значит, они были друзья... Вознесенский Николай Алексеевич, один из самых образованных и талантливых в том составе Политбюро. «Один из» – это я по привычке. Просто самый образованный, талантливый, знающий экономист. Заодно уничтожили и брата его, министра просвещения РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университета, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленинграда, всю их замечательную семью. Всех подверстали к ленинградским руководителям – П.Попкову, Я.Капустину, А.Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происходило это спустя четыре года после войны. В 1949–1950 годах. Те, кто вернулся оттуда в шестидесятые годы, случайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова, и других. Добивались от них, чтобы признали заговор, будто собирались создать российское ЦК, сделать Ленинград столицей России, противопоставить, расколоть партию... Словом, даже для того времени – бредовина, состряпанная кое-как. Преподносил ее в Ленинграде на активе Маленков, не заботясь о правдоподобии, – наплевать, сожрут.

Кто там с кем боролся за власть – Маленков с Берией, оба ли они против Вознесенского, – не разбери-поймешь. Убрать Вознесенского устраивало и остальных, поскольку Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была отработана.

Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных репрессий, что опустошили Ленинград, перекинулись и на Москву, и на другие города. Брали бывших ленинградцев, и не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 49–50-х годов за ним могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оставался на вершине власти, его чтили, боялись, сам же

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru он жил день и ночь в непрестанном ожидании ареста. Смерть предстояла совсем иная, чем наша фронтовая, солдатская, с пулевым присвистом или снарядным грохотом, отчаянная или нечаянная, и другая, чем блокадная – обессиленно-тихая, угасание... Он-то хорошо знал, что вытворяли с его друзьями, про ту пыточную, издевательскую...

Понимал ли он гнусность происходившего? Или все простил за то, что его минуло? Нет, вроде не простил... Но оправдывал ли Сталина? Чем мог его оправдать? Позволял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозволенные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда ж они деваются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мысли, во что превращаются старые страхи?

Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно прибранном лице.

– За что же его так, – начал я про Вознесенского, – если Сталин его привечал, то почему же...

Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавливающий жест и продолжал свой рассказ. Позже я понял значение этого предупреждающего жеста.

Одну за другой выкладывал он интереснейшие подробности о том, как шестнадцатого октября здание Совнаркома опустело, – двери кабинетов настежь распахнуты, валяются бумаги, шуршат под ногами, и повсюду звонят телефоны. Косыгин бегом из кабинета в кабинет, брал трубку, алекал. Никто не отзывался. Молчали. Он понимал: проверяют, есть ли кто в Кремле. Поэтому и носился от телефона к телефону. Надо, чтобы кто-то был, пусть знают...

Тут я вставил про нашего лейтенанта, который, прикрывая отход, бегал от пулемета к пулемету, стрелял очередями, как будто мы еще сидим в окопах.

Один из звонивших назвал себя. Это был известный человек. Деловито справился: «Ну как, Москву сдавать будем?» Косыгин всадил ему: «...А вы что, готовы?» И выругался. Никогда не ругался, а тут выругался.

В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Решилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел П.Попков, в то время председатель Ленгорисполкома. Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они дружили – земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то работал в Ленинграде на той же должности. За разговором припозднились, и Косыгин предложил поужинать вместе. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: где будешь Новый год встречать? «Не знаю». «Давай у меня дома». «Хорошо, но я с Попковым приду». «Годится». Договорились, поехали к Вознесенскому, поужинали у него, хозяин предложил посмотреть какую-нибудь комедию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал на Гнездниковский переулок. Сидят, смотрят, смеются, вдруг появляется дежурный: Косыгина к телефону. «Вас товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его разыскал, спрашивает, что он, Косыгин, делает? Кино смотрит? С кем смотрит? Выслушал, помолчал, потом спрашивает – каким образом вы вместе собрались? Косыгин подробно объяснил, как происходило дело. Сталин говорит: «Оставь их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Было часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков, Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в канаве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ленинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуацию».

– Так состоялось мое назначение.

– Ну и ну, – сказал я. – Хорош Сталин, что ж это он на каждом шагу подозревал своих верных соратников?

У меня это вырвалось произвольно, я был полон искреннего сочувствия к Косыгину.

Он помрачнел и вдруг с маху ударил ладонью по столу, плашмя, так что телефон подпрыгнул.

– Довольно! Что вы понимаете!

Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор никак не вязался с такой оплеухой.

Меня в жар бросило. И его бескровно-серое лицо пошло багровыми пятнами. Б-ов опустил голову. Молчание зашипело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропади он пропадом, этот визит, и эта запись, и эти сведения. Обойдемся. Ни от кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.

Но тут Косыгин опередил меня, не то чтобы улыбнулся, этого не было, но изменил лицо. Качнул головой, как бы признавая, что сорвался, и сказал примиренно:

– О Сталине лучше не будем. Это другая тема.

И сразу, без перехода, стал рассказывать о том, как готовился уехать в блокадный Ленинград в январе 1942 года, как собирал автоколонны для Дороги жизни, обеспечивал их водителями, ремонтниками, добывал автобусы, нельзя же в стужу везти по озеру детей и женщин в открытых грузовиках.

Записывал я машинально, все еще не мог прийти в себя. На кой он выдал мне эту историю про Сталина, мог же понять, что любой слушатель на это отозвался бы так же. Если у тебя болит, так какого черта ковыряешь? Сталинист он или кто? В самом деле, почему он ничего не изменил в этом кабинете, все оставил, как было? Почитает? Боится?

Исподлобья по-новому я озираю громоздкую мебель кабинета, угрюмо-добротную, лишенную украшений и примет, торжество канцелярского стиля... Массивная дверь в глубине, позади письменного стола, откуда, бесшумно ступая в мягких сапожках, появлялся вождь народов.

Спустя четверть века дух его благополучно сохранился и мог привольно чувствовать себя среди привычной обстановки. Есть ли они, духи прошлого, обитают ли они в местах своего жития, – не знаю, какая-то чертовщина все же действует, для меня ведь что-то витало, для нынешнего хозяина тем более многое должно было оставаться. Он-то наглядно представлял, как решались здесь судьбы того же Вознесенского, и Попкова, и Кузнецова, и всех остальных тысяч, уничтоженных по «ленинградскому делу», как обговаривали здесь выселение калмыков, чеченцев, балкар с родных мест, проведение разных кампаний то по борьбе с преклонением, то с космополитизмом, то со всякими шостаковичами, зощенками, ахматовыми.

Господи, какие молитвы и какие проклятия неслись к стенам этого респектабельного кабинета из всех тюрем, лагерей, эшелонов. Кровавые призраки прошлого, они блуждали здесь и поныне неприкаянные, куда же им деваться? Звенели телефоны, шелестели бумаги, заседали министры, замы, референты, секретари приноровисто двигались сквозь бесплотные видения. Минувшее действовало незаметно, как радиация.

Сталинист, не сталинист – такое упрощенное определение не годилось. Он вспылит необязательно из-за Сталина, тут ведь тоже вникнуть надо: вам излагают факты, преподносят случай разительный, вот и толкуйте его, как хотите. Но не вслух! И не требуйте выводов! Факты святы, толкование свободно... Это не то что осторожность, это условие выживания. Не трактуй, и не трактован будешь. Усвоено, стало привычкой, вошло в кровь. Любые сомнения в правоте вождя опасны. Чем выше поднимаешься, тем осмотрительней надо держаться, тем продуманней вести себя. Взвешивай каждый жест, взгляд. Оплошка приводила к падению, а то и к гибели. Недаром большая часть членов Политбюро погибла.

Выучка обходилась дорого. Личность по мере подъема состругивалась, исчезала. Когда-то Федор Раскольников довольно точно описал, как Сталин растаптывал души своих приближенных, как заставлял своих соратников с мукой и отвращением шагать по лужам крови вчерашних товарищей и друзей.

Страху хватало. На всех. Ни с того ни с сего высывались чудовищные морды подозрений: а не агент ли ты чей-нибудь?.. Страх сковывал самых честных, порядочных.

«Вот и вся хитрость – запугивали. Все боялись», – подхватывают молодые, и в голосе их звучит пренебрежение.

Попробуй объяснить, что, кроме страха, была вера, были обожествление, надежда,

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru радость свершений, – сколько всякого завязалось тугим узлом. Моему поколению и то не разобратся, следующие и вовсе не собираются вникать. «Уважать? – спрашивают молодые. – За что? Предъявите!» Упрощают самонадеянно, обидно, несправедливо, но, наверное, так всегда обходятся с прошлым. Оно или славное, или негодное.

Прибыв в Ленинград, он все усилия сосредоточил на Дороге жизни – единственной жилке, по которой еле пульсировала кровь, питая умирающий город. Изо дня в день налаживал ритм движения, ликвидировал заторы, беспорядок на обоих берегах Ладоги. Пришлось устранить излишества приказов, пустословия, улаживать столкновения гражданских властей и военных, моряков и пехотинцев, больных и здоровых. Надо было превратить эти водовороты в напористый гладкий поток, чтобы пропустить вдвое, впятеро, в пятнадцать раз больше: из города – людей, а в город – муки, консервов, крупы, мяса... Проложили через озеро трубопровод, чтобы снабжать город и фронт горючим. Наладили доставку угля электростанциям города. Мобилизовали коммунистов на восточный берег Ладоги, чтобы навести порядок на складах, потому что с хранением продуктов творилось черт знает что. Он переправлялся по этой дороге туда – назад. Когда лед сошел, ходил на катере. Однажды угодил под прицельный огонь с вражеского берега так, что еле выбрался. По катеру сажали из крупнокалиберных пулеметов... Он рассказывал об этом не без фронтовой небрежности. Хлопотная была работа, на ногах, без кабинетов, бумаг. Боевая, и с точным результатом: каждый день столько-то тысяч спасенных людей – и тех, кого вывозили на Большую землю, и тех, кому доставляли хлеб. Звездные месяцы его жизни располагались среди штабелей легких, иссушенных голодом трупов, аккуратно, по расписанию наступающих бомбежек, воя сирен, артиллерийских обстрелов, сна в душном, затхлом бомбоубежище Смольного. Странная вещь: для большинства блокадников, которых я наслушался, трагическая эта, наиболее ужасающая пора в то же время озарена счастливым состоянием духа. Никогда они не дышали такой вольностью, была подлинность отношений, люди кругом открылись. Это, казалось бы, невозможное сочетание горя и счастья подметили и Ольга Берггольц в своих блокадных стихах, и Дмитрий Сергеевич Лихачев в своих записках: «Только умирающий от голода живет настоящей жизнью, может совершить величайшую подлость и величайшее самопожертвование».

В Ленинграде Косыгин был сам себе хозяин, был избавлен от каждодневного гнета, хоть отчасти, но свободен. Поэтому ему вспоминалось иначе, с признательностью. Мотался по заводам, отбирал станки, прессы, приборы, специалистов – для вывоза. Скорей, скорей готовить в районах детей, родителей, кто еще мог передвигаться, для отправки их. Поездами – с Финляндского вокзала, а дальше пересадить на автобусы и туда, на тот берег, а там тоже наладить прием, кормление, медицинскую помощь и отправку этих сотен тысяч дистрофиков, доходяг, обессиленных, беспомощных людей, с их малым скарбом, одеждой, фотографиями, остатками прежней жизни в глубь страны. Отладить систему взаимодействия военных с милицией, с медиками, с железнодорожниками...

Вдруг он спохватился, прервал рассказ: нет, нет, все делалось совместно, разумеется, совместно с Военным советом или же с горкомом партии. Произносил отчетливо, словно бы не только для меня.

...Тем более совместно, что кругом были друзья-товарищи: и А.А.Кузнецов (с ним в некотором роде родственники), и Яков Капустин, и В.С.Соловьев, и В.С.Ефремов, и Б.С.Страупе... Полузабытые фамилии из той питерской гвардии, которую я еще застал, вернувшись с войны. Слой, что отстоялся после Кировского дела. Когда убили Кирова, тоже произошли массовые репрессии в Ленинграде, почти все они погибли, ленинградские руководители, специалисты, хозяйственники тех лет.

Во времена «ленинградского дела» опять стали косить подчистую. Не унять было. Заметное, яркое, тех, кто с честью прошел военное лихолетье, выдвинулся, – всех под корень. Я тогда работал в кабельной сети Ленэнерго. Приедешь в управление – того нет, этого. Где? Молчат. Исчезали директора электростанций, главные инженеры. Рядом, в Смольнинском райисполкоме, творилось то же самое. Город затих. Снова – в который раз – навалилась беда; одна не угасла, другая разгорелась. Чего только не натерпелся этот великий город и до войны, и в войну, и после; кара за карой, ни одна горькая чаша не миновала его. Все согнуть старались, в провинцию вогнать, под общий манер обрядить.

Косыгин был коренной питерец. Не помню уж, по какому поводу, а может, и без повода, он рассказал, что учился в Петровском реальном училище, там, где теперь Нахимовское училище, там, где высоко, в нише здания, стоит черный бюст Петра

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Великого. В прошлом году, будучи в Ленинграде, он заехал в училище, просто так, взглянуть на классы своего детства.

– ...Представляете, в спальне двухэтажные кровати стоят! – сердито недоумевал он. – Будто места мало. В столовой ложки алюминиевые, перекрученные. Что мы, не можем будущих офицеров обеспечить?..

Главная досада была на то, что неприглядней стало, чем в его школьные годы.

Опасно возвращаться в места своего детства: большей частью там поселяются разочарования. И все же детство надо иногда навещать, нельзя, чтобы оно зарастало, заглохло. Мне нравилось, что он любил свое детство и бывал там. Директор Эрмитажа Борис Борисович Пиотровский рассказал, как однажды Косыгин приехал к ним в музей и попросил провести его по старой экспозиции, по тем залам, по которым водили до революции. Разыскали сотрудника, знающего границы старого Эрмитажа. Косыгин признался, что ему хочется осмотреть то, что когда-то показывал ему его дед. И долго ходил из зала в зал, останавливался, узнавал, удивлялся детской своей памяти. За время своего директорства Пиотровский не помнил, чтобы кто-то из высшего начальства сам по себе, без делегации, посетил Эрмитаж, захотел бы полюбоваться его сокровищами. Косыгин был первый. Тогдашний секретарь Ленинградского обкома и тот за все годы не нашел времени походить по Эрмитажу.

В чем состояла сложность работы в блокадном городе? – вот что мне захотелось узнать. Всегда ищешь конфликты, столкновения характеров, взглядов, трудно решаемые проблемы. Друзья друзьями, но ведь приходилось добиваться, заставлять разворачиваться того же Кузнецова и Попкова, обеспечивать Дорогу жизни. Да и с А.А.Ждановым было непросто. Тем более что ни в город, ни на фронт в передовые части Жданов не выезжал, обстановку на местах знал плохо. На это жаловались многие блокадники. К чему же сводились разногласия? То, что они были, – известно. Не случайно в своем рассказе Косыгин ни разу не упомянул Жданова, ни по какому поводу.

– Разногласия? – Косыгин посмотрел поверх меня вдаль, морщины медленно соединялись в невеселую улыбочку. – Никаких разногласий быть не могло.. Не могло, – повторил он, настаивая. – Вот Хрулев, генерал армии, тот помогал всячески.

Перевел на Хрулева, потом перешел на ленинградских милиционеров, которые, помирая с голоду, продолжали нести службу. Пришлось настоять, чтобы Берия прислал с Большой земли свежие милицейские подразделения. Они крепко помогли тогда.

– Берия не хотел... Отношения Сталина и Жданова к тому времени стали неважными, – как бы невзначай бросил он. – Это Берия постарался...

Разговор коснулся продовольственных поставок, что шли через Микояна. И тут тоже, как я понял, сказались трения между Микояном и Ждановым, не случайно Жданов жаловался Сталину на Микояна. От всего этого возникли дополнительные трудности в снабжении города, Косыгину приходилось маневрировать, учитывать сложные взаимоотношения вождей. Из Ленинграда не так-то хорошо просматривались коридоры власти. Скупые его замечания высвечивали малый промежуток – лишь на шаг, чтоб не запнуться. Вообразить эти самые коридоры власти мне было трудно, у меня появлялась другая картина, привычная мне, – подстанция, распреустройства высокого напряжения, нависшие провода, тарелки изоляторов, медные шины. Воздух насыщен электричеством, повсюду потрескивает, гудит...

Как-то мне пришлось работать под напряжением у самых шин вопреки всем правилам безопасности. Поднимаешь руку медленно, глаз не спуская с басовито жужжащей рядышком тусклой меди. Каждое движение соизмеряешь, мышцы сводит, всюду ощущаешь электрическое поле, готовое вот-вот пробить тебя насквозь смертельным ударом. Примерно с тем же замедленным, бесконечно растянутым страхом ползли мы однажды через минное поле.

Косыгин вел свой рассказ, умело огибая запретные места, искусно сворачивая, не давая мне рассмотреть, прочувствовать, спросить... По обеим сторонам тянулись запертые, опечатанные двери. А почему? От кого заперты? От себя самого? От нас? Ему бы воспользоваться случаем. Когда еще придется повторить эту дорогу! Времени впереди немного. Восьмой десяток идет, возраст критический, когда ничего нельзя



Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru откладывать. Голова его хранила огромные материалы о блокаде, о войне, о послевоенных делах. Расскажи, чего же ждать? Второго раза не бывает. Народ доверил тебе в решающие годы руководить промышленностью, правительством, ключевыми событиями, и, будь добр, отчитайся. Напиши или расскажи. Тем более что творили вы эту нашу историю, судьбу нашу – безгласно, решали при закрытых дверях, никому не открывались в сомнениях или ошибках. Когда-то существовало в обществе историческое сознание. И большие, и малые деятели понимали свою ответственность перед детьми, внуками, свою включенность в историю. Куда исчезло это чувство? Люди стали так немо, словно виновато, уходить из жизни. Но почему? Ведь сделано много хорошего. Если что не так, то тем более надо поделиться... Ты же остался последний из всех твоих друзей-сподвижников, никто из ленинградских секретарей обкома тех лет не уцелел, никого из членов Военного совета тоже нет в живых...

Чем дальше я слушал его, тем меньше понимал, чего он так стережется. Ему-то чего опасаться? Глаза наши сошлись.

– Нельзя того, нельзя этого, а что можно? – вырвалось у меня.

Он понял, о чем я, и понял, что я понял, что перешло из глаз в глаза. Ничего не ответил, хмыкнул то ли над моей бестолковостью, то ли над тем, что я не в состоянии был увидеть.

Молчаливый телефон стоял между нами на пустом столике. Присутствие его мешало. Он стоял, как соглядатай, слухач.

Господи, хоть бы что-нибудь сменил в этом кабинете! Мне стало жаль этого старого, но еще сильного, умного человека, который вроде бы так много мог, имел огромную власть и был так зажат.

...Все же одно обстоятельство надо было прояснить. Во что бы то ни стало. Не отступаться, пока не узнаю, как совершался выбор в делах эвакуации. Выбор между населением и оборудованием. Между умирающими от голода и станками, аппаратурой, необходимой для военных заводов. Вывозили самолетами, бараками, машинами, но транспорта было в обрез, не хватало, приходилось выбирать, что вывезить раньше, – людей или металл, кого спасать, кому помогать: фронтовикам – танками, самолетами – или же ленинградцам... Так вот, на каких весах взвешивали нужду и срочность?

– И людей вывозили, и оборудование. Одновременно, – ответил Косыгин.

– Ясно, что одновременно, но это в общем и целом. А практически ведь всякий раз приходилось решать, чего сколько.

– Так и решали, и то и другое, – сердито настаивал Косыгин. – А как тут еще можно выбрать?

– Но приходилось выбирать!..

Я упорствовал, и он упорствовал. Я понимал, что в том-то и беда была, что ему нельзя было выбирать. В этом безвыходность была и общая мука. Не могли выбирать и не могли не выбирать. Вот какого признания я добивался – о мучительности положения, о том, какой душевный разрыв происходил. С него требовали скорее отгружать, обеспечивать заводы, ради этого шли на все. И в то же время надо было вывозить горожан, каждый день умирали тысячи людей. А мы на передовой смотрели в небо и не могли дожидаться наших истребителей. Такая вот сшибка происходила. Хоть словцо бы одно произнес об этом. Словечко про ту горечь, про случай самый малый, когда сердце стиснуло, – было же что-то, кому-то помог, пожалел, нарушил. Или наоборот, не помог, упустил..

Но нет, ничего не мог добиться.

Насчет выбора передо мной маячила одна сценка. Пойди у нас по-другому разговор, я бы ее обязательно рассказал. Тогда, кстати, я впервые увидел Жданова. Это было зимой 1942 года. Прямо из окопов нас вызвали в штаб армии, там придирчиво осмотрели, как выглядим. Накануне мы получили новые гимнастерки, надраили свою

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru кирзу, подшили свежие подворотнички. Штаб помещался на Благодатном, так что в Смольный нас везли через весь город. Мы ехали на газогенераторной полуторке стоя, чтобы не запачкаться, в Смольном на вручение орденов нас собрали из разных частей фронта. Нас – человек шестьдесят. Я плохо что видел и замечал, потому что волновался. Провели нас в маленький зал. За столом сидели незнакомые мне начальники, командиры. Единственный, кого я узнал, был Жданов. Все вручение он просидел молча, неподвижно, запомнилась его рыхлость, сонность. В конце процедуры он тяжело поднялся, поздравил нас с награждением и сказал про неизбежный разгром немецких оккупантов. Говорил он с чувством, но круглое, бледное, гладко-блестящее его лицо сохраняло безразличие. В некоторых местах он поднимал голос, и мы добросовестно хлопали. Когда я вернулся в батальон, пересказать толком, о чем он говорил, я не мог. У меня получалась какая-то ерунда, ничего нового, интересного. Ни про второй фронт, ни про наши самолеты. Нас Жданов ни о чем не спросил. Хотя мы были наготове, нас инструктировали в политотделе. Мы все видели его впервые. Ни у кого из нас он в части не бывал, вообще не было слышно, чтобы он побывал на переднем крае. Весть об этом дошла бы.

Вот про обед я ребятам рассказал. Как нас повели вниз в столовую и кормили шикарным обедом. То, что покушать дадут, – это мы знали, это полагалось. Но обед был на скатерти, на фарфоровых тарелках, с казенными ложками. Дали суп гороховый – с кусочком сала, на второе – перловую кашу и котлетку, на третье – розовый кисель. Порции крохотные, не обед, а воспоминание. Зато лежали вилка, чайная ложка. Самое трогательное – на блюдечке три куска хлеба и конфетка в зеленой бумажке. Конфетка была как бы сверх всякой программы, сюрприз. Ее совали в карманы, в планшетки, на память, друзей угостить. Из всех обедов именно этот помнится. Потом был концерт московских артистов. Пела певица, крупная женщина в длинном шелковом платье с вырезом, чтец читал Некрасова, запомнился баянист с плясуньей. Меня поразило, какие они розовые, свежие. В зале было тепло, некоторые разомлели, похрапывали. После концерта какой-то мужик в защитном френче подозвал нас, сделал замечание: «Мы, – говорит, – летели из Москвы, чтобы порадовать своим искусством, а тут храпака задают, некрасиво. В нас зенитки стреляли, артисты жизнью рисковали в надежде... Концерт этот дорогого стоит...» И в таком роде, и тому подобное. Кто-то извинился, виноваты, с отвычки, мол. Подошел еще помощник Жданова (это мы потом узнали), стоит, слушает. Тогда Витя Левашов, комзвода артрязведки, сунул руки за ремень, голову набок и спрашивает: «А сколько вы, дорогой товарищ, весите?» Тот оторопел. Левашов оглядел его: «Килограммов семьдесят потянете, не меньше. Вместе с остальными артистами, да еще баян прибавить, составит шестьсот кило, не меньше. Вопрос к вам такой: если эти шестьсот кило переведем на муку и консервы, которые вместо вас привезли бы, мы бы почти целый полк подкормили: что касается гражданских, так тех, считай, тысячу спасли бы. Артисты, конечно, тут ни при чем, им спасибо, но концерт, точно, драгоценный, шестьсот кило продовольствия проспать, за это наказывать надо!» Все посмеивались, даже концертный начальник заулыбался, один только помощник помрачнел. Если бы не орден, погорел бы Виктор. Его потом долго драили. Шутка шуткой, однако прошлась по армии, занозистой оказалась. После нее мы стали кое-что как бы на вес прикидывать.

...Мне было известно про Косыгина несколько историй сердечных, добрых. Одну из них я слышал от Михаила Михайловича Ковальчука, врача на Ладого. Я попробовал напомнить ее, но Косыгин безучастно пожал плечами. Похоже, что забыл. И про мальчика, умиравшего на проходной Кировского завода, забыл, как нестоящее, как слабость души. А ведь возился с ним. Видимо, то, что не имело отношения к делу, память его не удерживала, отбрасывала.

Наверное, чтоб отделаться от меня, рассказал, как в одном из писем отец попросил проведать их ленинградскую квартиру. Родители эвакуировались, квартира стояла пустая. Заодно, писал отец, пошарь в полке над дверью. К счастью, дом уцелел, квартира уцелела. Стекла, конечно, повыбивало, стены заиндевели. Косыгин встал на табурет у входной двери, сунул руку в глубину полки и вытащил оттуда одну за другой чекушки водки. Оказывается, у отца был обычай на Новый год прятать «маленькую» на память о прожитом годе. Извлек оттуда бутылочки еще царской водки, с орлом. Целый мешок набрал, потом в Смольном всех угощал.

Вот то личное, что вспомнилось. Все чувства сосредоточены были на деле. Насчет дела он мог рассказывать сколько угодно.

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Шел девятый час вечера. Я завидовал его выносливости. Меня уморил напруг этого кабинета, вымотали сложные извороты нашего разговора. Пора была подниматься и благодарить: нельзя же отнимать столько времени, да еще после рабочего дня и всякое такое. Косыгин встал, пожелал успеха в издании книги. На это я сказал, что со второй частью у нас будут трудности. По поводу первой части наш ленинградский партийный руководитель заявил, что никому такая книга не нужна, что ленинградская блокада – это прежде всего подвиг и героизм, а мы зачем-то описываем страдания людей, лишения, смерти. Такие примеры ничему не учат. Его слова, конечно, поспешили передать нашему московскому издателю, и тот, человек чуткий к начальственному мнению, попятился.

– Только героизм признает, – сказал Косыгин. – Знаток, – и он вложил в это слово ту иронию, с какой мы, фронтовики, слушали военные рассуждения гражданских.

– И никто не вступится, – обрадованно сказал я, помогая, подталкивая его, Косыгина. «Ну это мы вам пособим, поможем», – должен был ответить он. Первую часть он читал, после чего и выразил согласие встретиться. Следовательно, возражений не имел. Разве он не мог дать отповедь и нашему начальству, и кому угодно! Пристыдить, подтвердить. Достаточно было поручить-своему помощнику позвонить в издательство. И все. Вопрос был бы решен...

Но на его узловатом лице не появилось никакого сочувствия, наоборот, оно лишилось всякого выражения, осталось каменное равнодушие, как будто не было ни этой встречи, ни нашего блокадного братства, как будто перед ним посторонний, докучающий своими просьбами. Он отвергающе покачал головой. Вмешиваться он не станет. Издательства не по его части. И все. Рука его была теплой, бескостно-мягкой.

Молча мы с Б-вым миновали застеленные дорожками коридоры, лесенки, переходы, охрану. На Красной площади горели прожектора. По мощеной брусчатке растекалось вечернее глазеющее брожение приезжих. Было просторно, свободно, шумно. С облегчением вдыхал я этот чадный, бензиновый воздух. Потянулся затекшим телом, подвигал лицом, почувствовал, как внутри расслабляется, отходит натянутая до предела душа и всякие нервные устройства.

Б-ов тоже расправил плечи, вынул платок, вытер шею, затем трубно высморкался, укоризненно понаблюдал мои гримасы.

– Эх, мил-человек, ручался я за вас, хлопотал, а вы...

– Что я?

– Подвели. Вопросыки ваши! Что ни вопрос – как в лужу. Всякий раз в неудобное положение ставили. Неужели не чувствовали? А меня от стыда потом прошибало.

– За вопросы? Да? А за ответы?

– Разве тактично спрашивать о разногласиях с Ждановым? Вы должны понимать: Жданов в то время был членом Политбюро.

– А Косыгин?

– Не был.

– И что с того? Теперь-то он...

Б-ов рукой махнул, весь скривился от невыносимого моего невежества. Есть правила, есть субординация, существует, наконец, этикет, если угодно церемониал. И насчет личного не принято у людей такого ранга выпрашивать. Где вы слыхали, где читали, про кого, чтобы вам раскрывали, допустим, их настроения, болезни? Извините. Не положено... Значит, есть тому основания.

О чем он? Моя беда другая – слишком стеснялся! Стыда много, вот и вылез голодным из-за стола. Разве это вопросы? Косыгин и без моих вопросов сам себя за язык держал. Сам себе не доверяет. У него никто ни в чем не виноват, не было ни столкновений, ни промахов, миллион ленинградцев погибли, и все было безупречно.

Запретная глава. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Кроме фашистов, никто ни в чем не виноват. Нам с Адамовичем говорили: стоит ли ворошить, важно, что город отстояли, не в цене дело, победителей не судят, виновных искать – правых потерять, и всякое такое. Мы так надеялись на Косыгина, а он чужие грехи стал прикрывать. Зачем? К чему было то и дело приписывать свои заслуги Военному совету, предупреждать, чтобы не упоминалось лишний раз его имя. Неужели не известно, что литература имеет дело с человеком, а не с организациями! Какая тут к черту скромность, все кругами, в обход, на цыпочках, как бы не задеть, не дай бог, не вспугнуть летучих мышей и ту нечисть, которую навоображали себе...

Тут Б-ов не вытерпел, вскинулся. Будь я в его министерском кабинете, он бы грохнул по столу: «Молчать!» Выставил бы меня. Но тут, на площади, стола нет, чтобы грохнуть, и выставить некуда. Заругался – писатель, называется, насочиняют с три короба, а разобраться в живой душе – кишка тонка.

Чего разбираться, когда и так ясно: не посмел вступить за нашу книгу! Да какая она наша, она голоса погибших, память всех блокадников, свою собственную славу предал, так чиновно оттолкнул – не по моей части! Трепетный порядок зато соблюл...

– ...Речи слышать, а сердца не учуять, мыслитель, мать вашу за ногу! – прервал Б-ов и первый спохватился, что мы перешли на крик, оглянулся на окна Кремля, крепко взял меня под руку, потащил поскорее с площади. Выйдя на улицу Горького и сменив гнев в своем голосе на смиренное терпение, Б-ов осведомился: неужели я и впрямь не понял, что к чему? Допустим, пошли бы мне навстречу, похлопотали бы за нашу книгу, то есть за книгу, где будут воспоминания, которые я выслушал. Допустим. Однако, как известно, сейчас вышла книга с другими воспоминаниями. Про Малую землю. Там расписаны героическая оборона, лишения, пример политработы, пример руководителя. Книгу изучают, по радио читают, по телевидению, на иностранные языки переводят, ваши писатели хвалят ее вздохом. Она сегодня Главная книга. Вслед за ней вторая часть вышла «Возрождение», то же самое. И тут на всех, как с крыши, свалится другой воспоминатель. Здрате пожалуйста, объявился, вот и я. У меня тоже эпопея, да какая! И размах, и заслуга, и достоверность – сортом выше, душой краше. Это как, по-вашему, – приятно будет? Сразу же выяснят и преподнесут хлопоты за «Блокадную книгу» как личный интерес. Старался, пробивал, мол, чтобы опубликовать в пику, чтобы принизить. Конкуренция, подножка, вызов – истолкуют подлейшим образом. Найдутся охотники, лизунов полно.

– фактически это, знаете, как выглядело? как будто вы сталкивали, как будто вы требовали противопоставить! – с некоторым даже ужасом заключил он.

Я вдруг увидел по-новому наш разговор – глазами их обоих, физиономия у меня, надо полагать, стала озадаченная, а может, идиотская. Кто бы мог подумать, что за всем этим стояло? Вот, значит, в чем разгадка. Довольно просто и убедительно. Да, нехорошо получилось. Я смотрел вниз, на затоптанный асфальт, где дружно шагали наши ноги.

– Так что неизвестно, кто кому должен предъявлять, – сказал Б-ов, дожидая меня. Ясно ли мне теперь, что встречаться было вообще-то нехотать? Потому и тянули. И все-таки не убоились, пошли на это. Настоящая смелость ума требует. Другой оценил бы: кремень характер. И как в кремне огонь не виден, так в человеке этом – душа.

Передаю лишь общий смысл его торжествующей нотации, ибо ловкое косноязычие его, со вздохами, междометиями, миганием, позволяло обходиться без имен. Ни Брежнева, ни других он не называл, вместо Косыгина употреблял множественное число третьего лица – они.

– Ладно, не унывай, – отходчиво сказал Б-ов. – Наука будет.

– Ох, и большая у вас наука, – сказал я. – Далекое видите.

Здорово они вычисляют наперед, телескопы у них, локаторы, предвидят каждый ход и что в ответ может быть, все варианты продумывают. Поднаторели. Провидцы... Злость неудержимо подступала ко мне, потому что эти два с лишним года я жил среди отчаяния и голодухи блокадной памяти, среди рассказов, смешанных с рыданиями, там не было места расчетам, хитри не хитри, не выкроишь себе ни лишней корочки, ни тарелки бурды. Если только не украдешь, не обездолишь кого-то. Откуда брали они мужество жить по совести?

– Знаете, чего они боялись? Расчеловечиться боялись! – сказал я. – Вы же были там, вам смерть была нипочем...

– Все относительно, – сказал Б-ов.

– Нет, не все... Если кому персонально обязан Ленинград, так это Жукову и Косыгину. Он бы мог держать себя...

Б-ов остановился и так посмотрел на меня, что я заткнулся.

– Больно вы лихой... И вообще... Лучше до поры до времени помалкивать о посещении. – Взгляд его был сердечен и заботлив.

Мы помалкивали.

Но все равно главу с рассказом Косыгина в «Блокадную книгу» не пропустили. Б-ов всячески пытался нам помочь и не смог. Ничего нам толком не поясняли, никакие вычерки их не удовлетворяли, нельзя и все. Косыгин в эти месяцы болел, не мог вмешаться. Так мы с Адамовичем уверяли себя и других, ждали, тянули.

...А вскоре Косыгин умер. Главу нам пришлось переделать, прямую речь убрать, превратить рассказ в набор сведений, неизвестно от кого полученных. Из «Блокадной книги» удалили немало дорогих нам мест, кое-что удалось отстоять. Но были потери особо чувствительные, и эта глава – одна из них. Раз уж мы не могли обличить виновных, то хотелось отдать должное человеку, который в тех условиях сумел наладить эвакуацию и спасти тысячи и тысячи ленинградцев. Не позволили. А может, и хорошо, что Косыгин не увидел свой рассказ в таком изуродованном, безликом виде.

Прошли годы. Изъятую, запретную главу, за которую мы столько боролись, можно было восстановить. Но что-то с ней произошло. В ней явственно проступили пятна, подчистки, то есть умолчания, невнятная скороговорка, все то, что я пытался обойти, то, что творилось во время разговора. Фальшивая интонация временами непереносимо резала слух, тем более рядом с безыскусными рассказами блокадников. Дело было не только в Косыгине: написанное мною, автором, зачерствело, обнаружилось, что я сам не добиваюсь ясных ответов, веду себя скованно, не смею. От этого и сухость. Главное же, не понять было моего отношения к собеседнику – то осуждаю его, то чту.

Глава, которая казалась нам такой доблестной, честной, ныне обличала нас. И меня, и моего собеседника. Я видел перед собой его сцепленные пальцы, пасмурное наше прощание, как он стоял, опустив руки, сжатый, точно связанный. Что-то сместилось в моем восприятии, как бывает с лучом света, он ломается, переходя в другую среду. Может, все дело было в том, что мы перешли в другое время. Вдруг, почти физически, я ощутил в себе этот перелом-переход, и счастливый, и болезненный...

Порой мне кажется, что, если бы Косыгин знал в тот вечер, как скоро он умрет, или знал бы, как скоро кончится то время, он чувствовал бы себя свободнее, говорил бы не так, не было бы этой оглядки. Грустно, конечно, если только такое знание может освободить нас.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!